

УДК 130.12:316.4

ВРЕМЯ И СОБЫТИЕ В НАРРАТИВАХ СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ

Линченко А.А.

В статье на основе результатов анализа нарративных интервью были осмыслены особенности репрезентации семейного времени, хронологии и периодизации, а также основные типы событий семейной истории в представлениях молодых липчан. Способы конструирования времени и событийности были проанализированы в контексте культурных практик повседневной жизни, осознаваемых как традиции труда, быта и досуга. На основе биографического метода Фритца Шютце были выявлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов, которые были сопоставлены с «семейными сценариями», репрезентированными в нарративах молодых людей. Установлено, что в молодежной среде семейное время в большинстве случаев доминировало над историческими событиями региона и страны, а преобладающей тенденцией явилось стремление к «поколенческой периодизации». Были проанализированы особенности осмысления и аргументации в молодежной среде событий семейной истории. Дополнены существующие классификации типов семейного рассказа, которые в молодежной среде могут быть связаны с сильной, слабой преемственностью, а также направлены на отрицание семейного исторического опыта. В контексте интерпретации мифологического Р. Барта и А.Ф. Лосева классифицированы образы сакрального и профанного в нарративах семейной памяти.

Ключевые слова: семейная память, молодежь, историческое сознание, семейное время, историческое событие, биографический метод, нарративное интервью.

TIME AND EVENT IN THE YOUTH'S FAMILY MEMORY NARRATIVES

Linchenko A.A.

This article comprehended the features of representing the family time, chronology and periodization in the youth's narratives. The author revealed the main types of family history events, analysed methods of constructing time and events in the context of the cultural practices of everyday life recognized as traditions of labour, life, and leisure. Positive and negative curves of biographical stories were identified based on the biographical method of Fritz Schütze. These curves were compared with the "family scenarios" represented in the narratives of young people. Within the youth, family time in most cases dominated the historical events of the region and the country, and the predominant tendency was the desire for "generational periodization". The features of comprehension and argumentation in the youth's view of family history events were analysed. The existing classifications of types of family stories were supplemented, which among young people can be associated with strong, weak continuity, and also aimed at denying family historical experience. In the context of the interpretation of the mythological R. Bartes and A.F. Losev the images of the sacred and profane in the narratives of family memory were classified.

Keywords: family memory, youth, historical consciousness, family time, historical event, biographical method, narrative interview.

Исследование выполнено за счет средств гранта РФФИ 18-411-480001 «Трансформация повседневной мифологии семейной памяти в культурном ландшафте современной Центральной России: научная аналитика и региональные социокультурные практики».

В современном мире сохраняется рост интереса к семейной памяти. Вслед за многочисленными зарубежными и отечественными авторами можно было бы объяснить это как разрушением традиционных форм идентичности,

так и трансформацией самого института семьи. Однако нас привлекает еще одна важная причина. Речь идет о глубокой трансформации самого коммеморативного пространства, когда коллективные воспоминания оказываются в новом и быстроизменяющемся социальном контексте. В данном случае имеются в виду, как глобальные миграционные процессы, так и появление новых медиумов памяти и, в первую очередь, Интернет-коммуникаций. Первые разрушают казавшиеся ранее незыблемыми культурные и национальные рамки существования семейной памяти, делая ее частью трансграничного пространства и межкультурного обмена. Вторые принципиально изменяют характер и специфику передачи семейного исторического опыта, который оказывается публичным. Соответственно, изменения семейной памяти оказываются следствием предельной динамичности самого коммеморативного пространства и появлением новых форм мнемонических сообществ и акторов, предъявляющих к семейной памяти новые вопросы, актуальные для современного мира. И здесь в фокус внимания попадает именно молодежь, которая с одной стороны продолжает оставаться носителем традиций семейной памяти, а с другой стороны, гораздо лучше других возрастных групп оказывается интегрированной в глобальные практики идентификации, позволяющие индивиду выбирать между различными традициями культур памяти, а также создавать их гибридные формы.

Современные ученые-демографы В.В. Елизаров, Л.Л. Рыбаковский, В.А. Ионцева, С.В. Рязанцева, В.Н. Архангельский сходятся во мнении, что основным критерием, характеризующим понятие «молодежь» выступает возраст, который нивелирует все остальные различия, в том числе различия социального порядка. Это позволило исследователям говорить о молодежи как о «молодежной возрастной группе» [15, с. 93]. По мнению Т.С. Сулимовой молодежь представляет собой «социально-демографическую группу, главной характеристикой которой являются возрастные показатели (16-30 лет)» [20, с. 226-227]. Исследователи отмечают, что относительно возрастных рамок молодежной возрастной группы в науке и практике нет общепринятого

подхода. Возрастные границы молодежной возрастной группы варьируются в широком диапазоне. Если же говорить о специфике молодежи как субъекта социальной деятельности, то в данном случае важнейшими чертами молодежи оказывается динамизм, высокая мобильность, инновационность, зависимость от стадии и специфики процесса социализации. При этом, деятельность молодежи как социальной группы, как субкультуры во временном аспекте всегда ориентирована в будущее. Все настоящее, и тем более прошедшее, рассматривается и интерпретируется молодежью в модусе будущего. В исследованиях отмечается: «связывая будущее общества с молодёжью, во-первых, констатируем, что будущее можно увидеть в том новом поколении, которое уже существует в настоящее время в виде детского и молодёжного сообщества. Таким образом, новизна и специфика решения вопроса о будущем в данном случае состоит в том, что в лице молодёжи будущее существует в настоящем, а затем экстраполируется в будущее» [2, с. 36].

Как показывают исследования М.В. Городилиной [6] и М.А. Сизовой [19], исследования семейной памяти за последние четыре десятилетия несколько раз меняли фокус. Если в начале 80-х годов прошлого века речь шла об изучении самих нарративов семейной памяти, а с начала 90-х гг. – семейных историй, то в 2000-е годы исследователей стал привлекать сам процесс рассказывания историй. В соответствии с данной исследовательской стратегией, мы также ориентировались не только на то, о чем рассказывали наши респонденты, но и на то, как они это делали.

В 2018 году в рамках исследовательского проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, в Липецкой области было собрано и обработано 48 интервью. Респондентам в трех возрастных группах (16-30 лет, 30-50 лет, 50-80 лет) предлагалось рассказать о своей семье и ее истории в форме открытого интервью. Первая возрастная группа была представлена 17 интервью (9 – мужчины, 8 – женщины). Вторая возрастная группа была представлена 18 интервью (5 – мужчины, 13 – женщины). Наконец, третья возрастная группа была представлена 13 интервью (4 –

мужчины, 9 – женщины). Только по завершении основной части был задан ряд уточняющих вопросов об обстоятельствах знакомства с семейной историей, особых легендах, легендарных историях, чудесах связанных семьей и родом, о наиболее важных и значимых событиях истории семьи, семейных традициях, связанных с трудовой деятельностью, бытом и формами отдыха семьи в прошлом и настоящем.

В данном исследовании нас интересовала не только репрезентация исторических событий в представлении липчан, сколько сами культурные практики семейной памяти, воспроизводимые ими в контексте их повседневной жизни и осознаваемые как традиции труда, быта и досуга. Однако в силу того, что обширный материал исследования вряд ли удастся описать в одной статье, в данном тексте предметом исследования стали молодежные образы семейного прошлого, а также их отражение в особенностях конструирования семейного времени и специфики самой событийности семейной истории.

Исследования семейной памяти и «третья волна» memory studies

Ориентация нашего исследования на репрезентацию повседневного опыта, практик повседневной жизни в нарративах семейной памяти во многом отвечает современным тенденциям, сложившимся в междисциплинарном направлении *memory studies* (в силу отсутствия в русском языке адекватного эквивалента мы будем использовать в статье этот устоявшийся англоязычный термин). С легкой руки зарубежных исследователей новый этап в развитии данного направления получил название «третьей волны». В частности, Патрик Хаттон несколько лет назад предложил следующую классификацию: «Первая волна в конце XIX в. была научной и ориентировалась на индивида. В ее центре лежала психологическая сфера. Вторая волна сформировалась к концу XX в. Она была ближе искусству памяти, но ориентировалась в основном на социальные рамки. Ее основной сферой распространения стала историография. Третья волна распространяется с начала XXI в. и ориентируется на культурные последствия медиа-технологий. В ее центре оказываются исследования коммуникаций» [26, p. 177]. Не вызывает сомнений, что «третья волна»

сохраняет распространенное убеждение большинства исследователей о том, что «коллективная память является социокультурной конструкцией», а также тот факт, что она функциональна, когда «социальные группы сохраняют память о прошлом, преследуя различные цели» [18, с. 33]. К этому добавим тезис Майкла Ротберга о разнонаправленном характере трансформации коллективной памяти, указывающего на множественность и нелинейность способов коммемораций в современной культуре [29].

Комментируя тезисы Патрика Хаттона, отечественный исследователь Федор Николаи указывает на еще один важнейший признак современных *memory studies*: «Исследователей все чаще интересуют не отдельные точки ("места памяти"), но общая топология этого пространства, его движущие силы и динамические эффекты, определяющие растущую пролиферацию культурных практик и смену режимов соотнесения жизненного опыта и медиа-репрезентаций» [12, с. 371].

Следующий шаг находим в недавних работах Даниила Аникина, который не только говорит о преодолении пространственного подхода к памяти, но и показывает пределы сетевого подхода. «Сетевая изменчивость имеет свои пределы, поскольку идентичность объекта определяется сохранением "ядра устойчивых отношений", то есть совокупности связей между отдельными узлами сети, выключение каждого из которых приведет к изменению функционального или символического содержания объекта. Но такое ограничение имеет смысл лишь тогда, пока мы мыслим лишь ограниченными объектами, рассматривая саму динамику как некое внешнее свойство, направленное на разрушение (рано или поздно) изучаемого нами предмета» [1, с. 16]. Альтернативной ему видится потоковая модель культурной памяти, когда динамика рассматривается в качестве неотъемлемого элемента природы самой памяти. «С одной стороны, сообщество создает себе память, но с другой – уже сформированные образы прошлого перестают строго совпадать с контурами сообщества, обретая логику самостоятельного существования» [1, с. 17].

Именно в этом контексте необходимо интерпретировать высказывание немецкой исследовательницы Астрид Эрл, которая в своей недавней статье ориентирует читателя на изучение того «как семейные воспоминания транслируются в культурную память» [24, р. 312]. Вопрос немецкой исследовательницы отсылает нас именно к культурным практикам – еще одному важнейшему исследовательскому ориентиру современных *memory studies*. Причем, на наш взгляд, именно практики задают особенности динамики потоков культурной (коллективной) памяти, а также ее направленность. Они же оказываются своеобразным «строительным материалом» топологии памяти групп и сообществ, изменяя ее иерархию и структуру. Как видится, общим фоном развертывания данных практик выступает сама повседневная жизнь, которая может способствовать как актуализации семейного опыта, так и изменению некоторых семейных традиций и элементов семейной памяти.

В одном из наиболее заметных исследований последних лет семейно-родовая память трактуется как «программа восприятия, воспроизведения, сохранения и передачи социального наследия, сложившаяся в сознании человека как репрезентант сложнейшей социальной системы родства – свойства, являющейся базовой матрицей по отношению ко всем остальным общественным отношениям. Память «окрашивает» их чувствами, мифологизирует и трансформирует, передается потомкам в виде семейных историй, легенд. В последующих поколениях это закрепляется в своеобразии ментальных характеристик общности» [10, с. 18].

Соглашаясь с этим определением, можно утверждать, что семейно-родовая память представляет собой прежде всего определенную систему знаний, убеждений, мифологий и легенд о семейном прошлом и об исторических событиях вообще, отраженных в семейном прошлом. Однако семейная память представляет собой и совокупность практик воспроизводства семейного опыта, которые могут быть отрефлектированными, а могут таковыми и не являться. Именно практическая, повседневная сторона воспроизводства семейных отношений превалирует над другими ее

элементами. Л.Ю. Логунова отмечает: «пространство родства определяет специфику структуры семейно-родовой памяти, событийность жизненных ситуаций фиксируется семейно-родовой памятью в зависимости от социальных позиций родственной группы, инвариантности частных практик и жизненных стратегий в разных исторических и поселенческих ситуациях» [10, с. 31].

Цитируемые выше отечественные авторы подмечают еще одну важную тенденцию. В литературе подчеркивается, что актуальной задачей современных *memory studies* является «аналитическое сравнение механизмов воплощения памяти, – с одной стороны, интернализации культурных практик и медийных клише, а с другой – экстернализации жизненного опыта» [12, с. 373]. Причем экстернализация жизненного опыта занимает не меньшие позиции, проявляя себя в возможности индивида делать выбор между различными повседневными традициями и культурами воспоминаний. Этот момент очень точно подмечает Даниил Аникин: «гибкость идентификации проявляется в том, что индивид оказывается в своеобразном пограничном состоянии, в котором континуальность его принадлежности к определенному сообществу выступает лишь установкой сознания, в то время как объективные контуры этого сообщества могут существенно трансформироваться» [1, с. 17].

Суммируя выводы отечественных и зарубежных исследователей, мы обнаруживаем семейную память в качестве динамического поля смыслов и практик семейного исторического опыта, располагающегося между автобиографической памятью индивида и исторической культурой. Использование термина «историческая культура» в данном случае оказывается предпочтительным в связи с тем, что он в меньшей мере привязан к национальным и культурным рамкам и может охватывать, в том числе, практики обращения с прошлым, испытывающие влияние глобализационных тенденций.

Так, видный немецкий исследователь Йорн Рюзен определяет историческую культуру как «всю полноту дискурсов, в которых общество понимает себя самого и свое будущее, интерпретируя прошлое» [30, S. 3].

Принципиально важно, что историческая культура понимается им именно как целостная среда различных практик отношения с прошлым не отсылающая к культурной памяти какого-либо региона или страны. Еще дальше идет английский историк Дэвид Вульф, отмечая, что «историческая культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, моделей социального согласия, которые включают элитарные и народные, нарративные и не-нарративные типы дискурса... Сверх того, представления о прошлом в любой исторической культуре являются ... частью ментального и вербального фона того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Это движение и процесс обмена элементов исторической культуры можно для удобства назвать ее социальной циркуляцией» [34, р. 9-10].

Наша точка зрения состоит в том, что историческая культура является не просто посредником, но активной средой, которая осуществляет взаимодействие между различными типами знания о прошлом и формами памяти сообществ, а также присущими им ценностными основаниями в отношении к прошлому. В таком случае семейная память оказывается одновременно одной из сред данной циркуляции, но одновременно и оказывается под влиянием этой циркуляции образов прошлого, помещающей семейные воспоминания в новые интерпретативные контексты. Ярким примером в данном случае оказывается ситуация с семейной памятью в ФРГ в 60-е – 70-е годы прошлого столетия, когда общественные дискуссии вокруг нацистского прошлого актуализировали научно-исторический дискурс, а также способствовали существенному изменению самих поколенческих отношений в немецких семьях [4; 27].

Другой пример связан с рядом скандалов вокруг акции «Бессмертный полк», когда информация о старших родственниках, позиционировавшихся семьями как участников Великой Отечественной войны, оспаривалась правозащитными организациями в сфере памяти в связи с тем, что герои семейной памяти в действительности оказывались сотрудниками НКВД,

причастными к репрессиям. При этом непосредственно в военных действиях эти люди участия не принимали [5].

Как и другие формы исторической культуры, семейная память обращена к прошлому через совокупность исторических событий. Конечно, можно было бы сказать, что она транслирует в первую очередь знания о конкретных представителях рода. Однако в действительности речь идет о событийном контексте, в котором представители семьи принимают участие или являются творцами событий. В этой связи предельно важно, что историческое событие трактуется сегодня как «динамичная темпоральная конфигурация» и более того подчеркивается, что «событие имеет также собственную темпоральность, плотно связанную с темпоральностью тех, кто это событие проживал. Все вместе погружено в историко-культурный контекст, имеющий свое прошлое, собственную форму настоящего и определенное видение будущего, присущее тем, кто это событие приветствует или отрицает» [22, с. 431]. Это означает, что события семейной памяти переоцениваются с приходом нового поколения, приобретают новый мировоззренческий контекст. Именно такая трактовка событий семейной истории позволяет нам говорить не только о генеалогической, но и о семейно-родовой памяти в общей структуре семейных коммемораций.

Другим полюсом, задающим особенности трансляции семейной памяти, выступает автобиографическая память человека, от имени которого рассказывается история семьи, и историческое сознание которого с позиций собственного персонального опыта структурирует нарратив семейной памяти. Как известно, под автобиографической памятью понимают «субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, которым определяется самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе психологического субъекта» [13, с. 19]. Кроме того, подчеркивается, что «автобиографическое воспоминание представляет собой реконструктивный и одновременно конструктивный процесс, порождаемый потребностью субъекта в вере в

стабильность Я и потребностью в необходимых и пригодных для поддержания подобной веры фактах» [28, р. 114].

В отечественной литературе роль биографии человека в конструировании его идентичности уже подробно рассматривалась [16]. В нашем случае важно упоминание о нарративной идентичности как отражении в модусе автобиографической наррации идентичности человека, его способности к саморефлексии и занятию определенной позиции по отношению к самому себе. Феномен нарративной идентичности позволяет нам рассматривать автобиографическую память как еще одно важнейшее условие конструирования памяти семьи. В этой связи следует согласиться с Е.Ю. Рождественской в том, что концепт «нарративной идентичности» актуализирует вопрос «о качественной идентичности – о приписываниях и предикатах, с которыми индивид себя определяет, о его характеристиках, диспозициях, групповых принадлежностях, ролях, оценках», а также вопрос «о единстве личности в смысле непрерывности и когеренции/связности (внутренней согласованности)» [16, с. 84]. Именно поэтому, анализируя интервью рассказчиков, мы постарались использовать методологический опыт изучения автобиографических нарративов.

Всматриваясь в автобиографический рассказ: выбор методологии

Наше стремление анализировать семейную память сквозь призму автобиографического рассказа делает необходимым выбор соответствующей методологии. В современной социологии, психологии, устной истории и антропологии накоплен большой арсенал исследовательских приемов и методов работы с автобиографическим рассказом [8; 13; 16; 17; 21; 33].

Однако, определяясь с методологией, мы были вынуждены учитывать специфику предмета нашего исследования, поскольку семейная память, равно как и процесс рассказывания семейных историй в большей мере, чем собственно автобиографическая память, предполагает отсылку к макросоциальным историческим событиям. Это связано хотя бы уже с тем, что семейная память является памятью передаваемой от поколения к поколению.

Еще более важно, что в случае семейной памяти противоречия взаимоотношения с окружающим социумом изначально имеют групповой характер. Тогда фокус смещается в большей мере в сторону в социологии, среди биографических методов которой особое место продолжает занимать работы Габриэле Розенталь и Фритца Шютце. Они предлагают рассматривать биографический рассказ, записанный в ходе нарративного интервью как концептуально единый. «Рассказ о жизни представляет собой не цепь отдельных, изолированных пережитых событий, чей смысл возникает в момент самого рассказа, – скорее, это процесс, который одновременно разворачивается на фоне проявления всей смысловой структуры биографии, которая определяет отбор тех или иных эпизодов, представленных в рассказе в контексте взаимодействия со слушателем или воображаемой аудиторией» [17, с. 327]. В таком случае интервьюер не прерывает рассказчика, позволяя ему самому выстроить сюжет рассказа в свободной форме. Лишь в завершении интервью рассказчикам предлагается ответить на ряд уточняющих вопросов, что на языке теории Шютце и Розенталь получило наименование «фазы нарративных вопросов» [31, с. 324].

По мысли Ф. Шютце, история жизни – это «секвенционально упорядоченное наслоение больших и малых секвенционально же упорядоченных процессуальных структур. Со сменой доминантных процессуальных структур с течением времени изменяется также соответствующее общее толкование истории жизни носителем биографии» [32, с. 284]. Каждая секвенция при этом, содержит не только элементы рассказа (отдельные цепочки событий, связанные временем), но и описания (статичный набор событий, имеющих характер моментального снимка, в которых присутствует высокая эмоциональность, но отсутствует процессуальность), а также аргументации (элементы текста, отсылающие к стереотипам, представлениям, интерпретациям). Важнейшая цель методологии Ф. Шютце – это соотнесение истории жизни информанта с его субъективными интерпретациями. Это достигается через сопоставление таких процессуальных

структур, как интенциональные процессы (жизненные цели носителя биографии, предпринятые им действия в процессе преодоления сложных жизненных ситуаций), институциональные образцы (предписанные правила поведения со стороны семьи, образовательной системы, профессионального круга) и кривые течения (динамика идентичности в целом).

Комментируя идеи Ф. Шютце, Е.Ю. Рождественская отмечает, что кривые течения в биографическом анализе Ф. Шютце могут иметь положительное (восходящие в прогрессии, путем установления новых социальных позиций открывают новые пространственные возможности для действий и развития личности носителя биографии) и отрицательное (нисходящие в прогрессии, они ограничивают пространство возможных действий и развития носителя биографии в ходе особого наложения условий действий, которые не могут контролироваться самим носителем биографии) значение. Она подчеркивает, что «идентичность биографанта не совпадает по ритму с процессуальными структурами течения жизни, поскольку поиск, придание смысла биографии становятся возможными по мере смены жизненных позиций, отодвигания в прошлое ситуаций, формирования к ним временной дистанции» [16, с. 114]. Таким образом, в ситуации биографии рассказывающее Я представляет свое прошлое, то есть рассказанное Я, выступает в качестве вспомненного носителя действий.

На наш взгляд, данная методология может иметь некоторые перспективы при изучении семейных историй. Во-первых, рассказчиком семейной истории всегда выступает конкретный человек, вплетающий семейные воспоминания в собственный автобиографический опыт или представляющий историю семьи как биографию некоего «целостного субъекта во времени». Во-вторых, методика Ф. Шютце направлена на особенности взаимодействия в рассказе интенциональных процессов рассказчика (в нашем случае семьи) и институциональных образцов (окружающий социум). В-третьих, выявленные зарубежными и отечественными исследователями «семейные сценарии», отражающие направленность и функцию высказываний о семейной истории

могут быть продуктивно соотнесены с положительными и отрицательными кривыми биографических рассказов у Ф. Шютце.

Необходимо отметить, что мы обращаемся к понятию «семейный сценарий» не только в узком (направленность и ценностная специфика рассказа), но и в широком смысле, о котором, со ссылкой на врача-психотерапевта Джона Бинга-Холла, писал Пол Томпсон. Он говорил о семейных сценариях как о своеобразной форме передачи семейной традиции, которая может быть, как позитивной, так и негативной и приводил случай из семьи Бингов, один из предков которых был расстрелян за трусость. «С тех пор во всех поколениях в семье Бингов мужчины стремились показать, что они ни в коей мере не являются трусами – именно такой приговор был вынесен их легендарному предку» [21, с. 140].

В данном случае английский ученый говорит о поведенческой модели, которая на наш взгляд, крайне редко может противоречить модели семейного рассказа. В таком случае поведенческие установки оказываются репрезентированными в своеобразные «семейные сценарии» уже в узком смысле, о которых пишет Д.М. Хьюзман, называя их ведущими темами (паттернами) семейных историй. На основе большого количества исследований семейных нарративов отмечалось, что в семейных историях могут быть выделены несколько устойчивых и повторяющихся паттернов: «Мы преодолеваем трудности благодаря любви и поддержке», «Мы гордимся историей нашей семьи», «У нас есть семейные ритуалы», «У нас в семье следуют гендерным ролям», «Мы жизнестойкие», «Мы религиозны» [25]. Любопытно, что в литературе существуют и другие похожие термины, описывающие интересующий нас предмет. Например, Т. Лукман использует понятие «биографические схемы», Ю.М. Беспалова говорит о «событийных сценариях», а М. Гершензон говорил о «моделях жизни».

Однако семейные сценарии могут отражать и негативный исторический опыт. На эту сторону специфики семейных сценариев указывают работы Л.Ю. Логуновой, в сферу научных интересов которой входит не только социально-

философский анализ динамики семейно-родовой памяти, но и анализ процесса передачи травматического опыта между поколениями сибиряков. Она понимает семейные сценарии как «жизненные сценарии, неосознанно передаваемые по наследству младшим поколениям» и отмечает, что «на микроуровне семейные сценарии начинают воспроизводиться в судьбах потомков (повторения линий жизни старших родственников). Семейные сценарии модальны, неосознанны, событийно замкнуты. Они состоят из 4-5 травмирующих событий, которые повторяются в жизни одного и далее в судьбах последующих поколений. На повседневном уровне люди это объясняют «судьбой», «порчей», «семейными проклятиями». Это формирует невротическое настоящее семейной общности <...> в судьбе фиксируется, как правило, неприятное событие, связанное с негативными эмоциями» [9, с. 74].

Итак, как мы уже отмечали ранее, в 2018 году нами были собраны, транскрибированы и обработаны 50 интервью. Все интервью были проанализированы в рамках методологии Ф. Шютце (6 шагов), были выявлены и сопоставлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов, после чего был проведен сравнительный анализ как внутри избранных поколенческих групп, так и групп между собою. Представим далее результаты относительно молодежи.

Время и периодизация прошлого в нарративах семейной памяти

Нарративы семейной памяти, как и любого другого типа коллективной памяти, создают особую конфигурацию времени, ставя в центр разворачивающейся темпоральности событийный план семейной динамики. Вместе с тем время семейной памяти продолжает оставаться социальным временем. Вернее, между ними возникает взаимодействие и даже конкуренция, где в зависимости от специфики случая, доминирует либо социальное время (семейный опыт оказывается структурирован историческими событиями), либо время семьи (исторические события отодвигаются на второй план или не упоминаются). Анализ интервью показал, что в младшей группе наших респондентов (16-30 лет) время семьи в большинстве случаев доминировало

над историческими событиями региона и страны. Только в пяти случаях из 17 молодые люди в Липецке указывали на роль различных исторических событий в жизни семьи, придавая семейной хронологии исторический масштаб.

Основным событием, в контексте которого рассказчики сообщали о своих предках, явились события конца 30-х гг. прошлого века (сталинские репрессии), а также Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Это в полной мере соответствует исследованиям, проведенным ранее [7; 10; 14] и не требует особых объяснений, как в силу масштабов войны, так и в силу усилий официальной политики памяти в Советском союзе и в России 2000-х годов, превративших Победу в Великой Отечественной войне в центральное событие культурной памяти.

Любопытно, что в трех интервью рассказчики вышли за рамки XX века и начинали рассказ с событий XIII, XVIII и XIX веков. Более того, во всех трех случаях было отмечено, что молодые люди являются потомками дворянских родов, что изначально явно проступало в нарративе в качестве одного из гипертекстов. Характерно, что данный гипертекст в одном из интервью создавал изначально негативную рамку оценки советских событий, поскольку напрямую отождествлял кризис рода с действиями советской власти. Интервью начинается со следующих слов: *«Корни моей семьи начинают происходить с XIII века. Именно фамилия Морозов в принципе уже идет от боярского рода, то есть знатный боярский род. Также еще параллельно уже с XVII века дворянский род Кириловых начинает тоже поднимать свою силу. К сожалению, оба этих рода при становлении советской власти потеряли свою власть, потеряли свое имущество»* (Филипп, 20 лет, студент).

Специфику особой темпоральности, присущей семье, также хорошо подчеркивает та начальная точка семейной хронологии, которая возникает во время повествования. Она, с одной стороны, показывает глубину знаний о семейном прошлом, а с другой стороны, организует саму периодизацию этапов семейной истории. Как мы уже показывали ранее, только в трех случаях рассказы молодых людей в Липецке и Липецкой области демонстрировали

существенное отдаление начальной хронологической точки рассказа от событий XX века. Большинство респондентов таковой точкой избрали рождение своих родителей, и только в трех случаях рождение бабушек и дедушек. Данная ситуация также являлась для нас ожидаемой, в связи с тем, что социологические опросы последних лет неоднократно констатировали границы семейной памяти российской молодежи, рубежом для которых является поколение бабушек и дедушек. Они же выступили наиболее важными источниками знаний о прошлом семьи, что было зафиксировано в абсолютном большинстве интервью.

О преобладании семейного времени над социальным в группе молодых респондентов недвусмысленно свидетельствует и периодизация событий семейной истории. Доминирующей тенденцией в данном случае явилось стремление к своеобразной «поколенческой периодизации», когда основные этапы семейного рассказа структурировались в соответствии со сменой поколений. Только в пяти интервью, данных нам молодыми людьми, мы смогли выявить стремление соотносить семейную динамику с основными этапами российской истории XX века и только в трех уже упоминаемых случаях с историческими событиями предшествующих веков.

Особенности периодизации событий прошлого в семейном нарративе как и в других типах коллективной памяти связаны также и с неравномерностью распределения времени в процессе описания событий. В ситуации биографических интервью это особенно заметно в связи с увеличивающимся количеством описаний, которые начинают доминировать над рассказом. В данном случае описание – это своеобразная остановка рассказа, фокусировка на каком-либо ярком эпизоде или нескольких эпизодах. Они же, как правило, рассматривались респондентами в качестве значимых событий прошлого. Сопоставляя рассказы представителей молодежной группы, нами были выявлены три наиболее повторяющихся вида эпизодов, представляющих собой описания и выделявшихся из рассказов.

Первый вид был связан с собственными детскими воспоминаниями респондентов. Второй вид связывался с описаниями различных семейных традиций быта или досуга. Третий вид устойчиво связывался респондентами с фигурой наиболее важного для них родственника (отец, мать, бабушка, дедушка), личность и качества которого приобретали в рассказах черты мифологического героя, без действий которого жизнь семьи и рода не представлялась респондентам возможной. Так одна из рассказчиц, характеризуя трудовые качества отца, резюмирует свое рассуждение следующей аргументацией: *«не знаю, чтобы мы без него делали. Я таких людей в своей жизни не встречала»* (Юлия, 18 лет, студентка). Другая рассказчица, переживая ранний уход отца из жизни, вообще делает его биографию в семейной истории своеобразной кульминацией семейной динамики. Сообщение о его смерти запускает ее собственный гипертекст жизненной истории, где, повествуя о своих успехах в школе, на олимпиадах и общественной активности, она ориентируется на высокие оценки ушедшего отца и стремится *«реализовать себя в жизни, достичь определенных высот, чтобы у моей семьи все было хорошо»* (Милена, 17 лет, школьница).

Смысл семейной истории и типы нарративов

Трактовка биографического рассказа как концептуально единого и внутренне осмысленного текста в теории Ф. Шютце заставляет задуматься и об осмысленности нарративов семейной памяти. На наш взгляд, в данном случае есть все основания переносить механизмы смыслополагания автобиографического рассказа на уровень рассказов об истории семьи. Изменяется только перспектива, где рассказчик вынужден в большей мере говорить о своей семье, продолжателем (или опровергателем) традиций которой он является. В данном случае понятие «семейный сценарий», рассмотренное выше, достаточно хорошо соотносится с кривыми жизненной динамики у Ф. Шютце. Причем интерпретация рассказчиком негативного или положительного сценария семейной истории может не только передаваться от поколения к поколению, о чем писал П. Томпсон, но и конструироваться на

уровне автобиографической памяти рассказчика, переосмысливающего семейный опыт. В этой связи, сравнивая между собой нарративы и кривые историй семей, мы задавали транскрибированным текстам вопросы об осмысленности их семейной истории, о том, насколько они видят себя частью процесса передачи семейного опыта, а также какие типы нарратива характерны для их рассказов.

Говоря об осмысленности семейной истории в рассказах представителей молодежной группы, можно зафиксировать противоречивую ситуацию. Сравнивая рассказы, мы обнаружили, что чуть меньше половины респондентов (8 интервью), сообщая о событиях, практически не аргументировали свое понимание семейной истории. Несмотря на то, что семейной памяти, как и любой другой форме памяти присуща избирательность, указанные рассказчики воздерживались от собственных аргументаций. Они просто перечисляли факты либо в хронологическом, либо в тематическом порядке.

В первую очередь, это связано с возрастом наших рассказчиков, не решающихся давать оценку родным и предкам. С другой стороны, еще в 8 интервью мы видим попытки интерпретировать семейную историю, которые звучат в большей мере как оценки, отражающие мнения старших поколений. История семей в них представлена как восходящая кривая, где трудности и утраты преодолеваются, а результатом является гордость за семью.

Так, например, интервью, данное нам студенткой Юлией (18 лет), последовательно разворачивает гипертекст «Мы выжили, хотя нам было тяжело». Повествуя о «дворянской крови» своей семьи, респондент начинает описание с эпохи Петра I и насильственном переселении ее семьи в Казахстан, далее следует два описания, посвященное старшим родственникам, пострадавшим от сталинских репрессий: *«Вообще так получилось, что, во время этих репрессий, трое из четырех моих прабабушек и прадедушек как бы побывали в тюрьме»* (Юлия, 18 лет, студентка). Далее следует цепь рассказов, посвященных вышедшим из тюрьмы прадедушкам, воевавшим в войне и дошедшим в 1945 году до Берлина, а далее небольшое возвращение во времена

Столыпинской реформы, когда прабабушка рассказчицы была вынуждена переселиться на Дальний Восток. А далее мы сталкиваемся в тексте с еще одним гипертекстом, который можно было бы назвать «Роль мужчин в истории нашей семьи». Характерно, что данный гипертекст дополняет первый и последовательно разворачивается на примере образов дедушек, отца, брата, а кульминацией оказывается образам прадедушек, к которым рассказчица возвращается вновь, отвечая на дополнительные вопросы: *«папа моей бабушки, то есть мой прадедушка Петр, вот он прошел всю войну и до Берлина дошел и вернулся домой. То есть я им сильно горжусь, восхищаюсь. Просто у меня это даже в голове не укладывается, какой сильный подвиг. Еще я знаю, что брат бабушки тоже воевал. Его забрали совсем мальчиком, то есть ему лет семнадцать было. Он, к сожалению, не дошел до конца. Вот я им, безусловно, тоже восхищаюсь. Это героический поступок. И вот благодаря этим людям, мы до сих пор все живы, у нас большая семья. Все у нас хорошо благодаря вот их таким подвигам»* (Юлия, 18 лет, студентка).

В одном из интервью мы столкнулись с персональной позицией рассказчика, который, характеризуя положительные качества своих родителей, рассматривал саму передачу положительных отношений в семье как его собственный долг. Причем гипертекстом данного рассказа мог выступить заголовок «Постараюсь не разочаровать родителей». Семейная история в данном рассказе оказывается центрированной вокруг родителей респондента и не обладает хронологической глубиной, однако она оказывается не менее осмысленной: *«родители хотели вырастить из меня одно, в итоге выросло совершенно другое, но им результат понравился. Они воспитали, прежде всего, человека мыслящего, человека, старающегося думать своей головой, выбирающего свой вектор. И вроде получилось, стараюсь не разочаровывать. Это чувство, что нельзя разочаровывать, тоже присутствует»* (Сергей, 25 лет, педагог начальных классов).

Анализируя интервью молодых липчан, мы столкнулись с еще одной вполне ожидаемой тенденцией. Половина рассказчиков явно обозначала в

тексте свою готовность и понимание быть частью процесса передачи семейного опыта, в то время как ровно другая половина вообще не акцентировала внимание на данной теме. Более того, в тех интервью, где сообщалось о «дворянских корнях» (Юлия, 18 лет, студентка), «боярском роде» (Филипп, 20 лет студент), «давней истории на службе у царя» (Татьяна, 17 лет, студентка), а также где «дед по линии мамы составил генеалогическое древо» (Никита, 18 лет, студент), наблюдалось ярко выраженное стремление к сохранению и последующей передаче семейной идентичности. Это позволяет согласиться с отечественными исследователями, указывающими на важную роль материальных свидетельств и «коллективной работы» над семейным прошлым как факторов актуализации семейного исторического опыта у младших поколений [7].

Обращаясь к кривым истории семей, выявленных нами в рассказах представителей молодежи, мы обнаружили лишь несколько случаев, когда кривая семейной истории оказывалась нисходящей. И каждый раз источниками негативной интерпретации опыта выступают различные факты семейной истории.

Так в одном случае мы столкнулись с фактом объяснения серии семейных неудач (смертей близких, разводов, инвалидностей, пропажи и отыскания ребенка, неудачных беременностей) действиями наговоров некоей «бабки»: *«Дедушка умер. Это было летом. Это был 2002 год. Подробностей я не помню. Но я помню, что мы были за городом с родителями, с палатками. И какая-то бабка была в лесу, проходила мимо нас. И что-то напорочила. Что-то сказала про нашу семью. Я не помню. Я была маленькая. И на следующее утро умирает дедушка. Он умер во сне»* (Юлия, 21 год, студентка).

В другом случае, источником нисходящей кривой рассказа оказывается советская политика по отношению к дворянству и к боярскому роду Морозовых, к которому себя причисляет рассказчик. Мы уже приводили его цитату выше и можем только добавить, что общий гипертекст данного рассказа можно было бы обозначить заголовком «Если бы не советское время». При

этом, несмотря на активность рассказчика (Филипп, 20 лет, студент) в деле генеалогического поиска, общая череда событий семейной истории описывается как череда трудностей и сложностей, выход из которых ему не вполне понятен.

Другая рассказчица, повествуя о трудностях своей семьи и в большей мере о негативных качествах некоторых членов своей семьи, несколько раз в интервью делает достаточно важный для нас вывод: *«Многие говорят, что я взяла со своей семьи все самое плохое. Вот все черты, что взять, характер, внешность. Ну, все самое плохое»* (Анастасия, 19 лет, студентка). Тем не менее, разворачивая цепочку негативных оценок родных и делая особый акцент на атмосфере постоянного выяснения отношений, рассказчица резюмирует следующей цитатой, не позволяющей нам в полной мере говорить о нисходящей кривой ее семейной истории: *«Я свою семью очень люблю. Я горжусь, что у меня такая история, ну очень богатая. Что у нас были и зажиточные люди, и герои военного времени, да и просто»* (Анастасия, 19 лет, студентка).

Выявленные случаи, тем не менее, не нарушают общую тенденцию доминирования восходящих кривых рассказа, где событийный план содержал преимущественно положительные описания и аргументации, отсылающие к различным счастливым случаям, чудесам и нравственным качествам старших родственников и предков.

Однако типология семейных рассказов, связывающая их с восходящими и нисходящими кривыми, доминированием положительного или отрицательного исторического опыта вряд ли может считаться полной, поскольку в меньшей мере обращена к самой активности субъекта семейной памяти. В этой связи в работе М.В. Городиловой утверждается существование как минимум двух типов семейной идентичности в контексте биографической памяти поколений. В случае «кризисной» идентичности молодежь безразлично или негативно оценивает свое членство в семье, не ощущает тесную связь с ней и не желает идентифицировать себя с ее прошлым. Наоборот, в случае «зрелой»

идентичности молодежь проявляет позитивное эмоциональное отношение к прошлому семьи, стремится познать биографию поколений семьи и ощущает высокую степень причастности к семейному историческому опыту [7, с. 132].

В нашем случае, анализ интервью показал, что представленная классификация безусловно оправдана, однако может быть уточнена в связи с тем, что часть молодых людей не проявила ни положительного, ни сугубо отрицательного отношения к семейной истории. Семь из семнадцати интервью в молодежной среде скорее указывали на некую промежуточную форму отношения к семейному прошлому, содержащему некоторые знания о семье, но при отсутствии большого интереса и эмоциональной вовлеченности, а некоторых случаях допускавшей избирательность отношения только лишь к какой-либо части биографии семьи. Так, в одном из интервью мы столкнулись с высоким уровнем знаний об истории семьи, стремлением изучать историю рода, но только со стороны мамы, в то время как об отце и его родных демонстративно не было сказано ни слова.

В случае наших интервью, собранных в группе молодых липчан, мы могли бы говорить, как минимум, о трех типах семейного рассказа. Во-первых, большинство рассказчиков демонстрировали высокую степень преемственности с семейными традициями, хотя в каждом случае наблюдалась специфика. Объектом преемственности могли являться трудовые традиции в семье, но в большей мере речь шла о практиках быта и досуга, а также о преемственности нравственных качеств членов семьи. В таком случае мы можем говорить о *первом типе рассказа*, содержащего указания на высокую степень преемственности с семейным прошлым. Во-вторых, семь из семнадцати рассказчиков, как мы уже отмечали выше, не столько отрицали свою связь с семейной историей, сколько крайне инертно сообщали факты, высказываясь относительно них нейтрально. В таком случае мы уже говорим о *втором типе рассказа*, указывающем на слабую преемственность с семейной историей. И, наконец, *третий тип рассказа*, обнаруженный нами только у одного респондента, являл собою достаточно отрицательное отношение и

стремление к разрыву семейных традиций, воплощенных по мнению рассказчика в отрицательных нравственных качествах его родителей. При этом в каждом типе рассказа преемственность с семейной историей или ее отсутствие было связано с какой-либо отдельной стороной повседневности, практиками труда, быта, досуга или образами старших родственников.

События семейной истории: сакральное и профанное

Избирательность семейной памяти, как известно, является не единственной ее особенностью. Не менее важной является высокая степень эмоциональности рассказов о семейном прошлом. Среди исследователей за рубежом и в нашей стране давно уже утверждается, что семейная память предполагает определенный эмоциональный настрой. Так, по мнению Патриции Бёлей, речь идет об особой эмоциональной насыщенности семейных рассказов и эта насыщенность напрямую связывается с особенностями семейной коммуникации [23]. Резонно предположить, что высокая эмоциональность семейной памяти является одним из наиболее важных источников придания семейным событиям мифологической интерпретации. В данном случае для нас важны две трактовки мифа, данные ему Роланом Бартом и Алексеем Федоровичем Лосевым.

Известный французский философ отмечал, что «...миф представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что это не может быть ни вещь, ни понятие или идея: это форма, способ обозначения <...> миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует – он деформирует; его тактика – не правда и не ложь, а отклонение» [3, с. 263].

Не менее интересен и подход отечественного философа А.Ф. Лосева, который в своей знаменитой «Диалектике мифа» указывает на то, что «мифом пропитана вся повседневная человеческая жизнь» [11, с. 67], а сам миф «есть в словах данная личностная история», что «стирает всякую грань между мифом и самой обыкновенной историей, точнее биографией или описанием тех или иных эпизодов из жизни того или иного человека» [11, с. 134]. Более того, для А.Ф. Лосева миф есть, прежде всего, чудо, «диалектический синтез двух планов

личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее исторического развития задание первообраза <...> Чудо обладает в основе своей, стало быть, характером извещения, проявления, возвещения, свидетельства, раскрытия, а не бытия самих фактов, не наступления самих событий. Это – модификация смысла фактов и событий, а не самые факты и события. Это – определенный метод интерпретации исторических событий, а не изыскание каких-то новых событий как таковых» [11, с. 147].

Подтверждение слов А.Ф. Лосева о пронизанности мифом всей повседневной жизни находим у Пола Томпсона, который делает один очень примечательный для нас вывод. Он пишет о том, что мифологизация является неотъемлемым спутником процесса передачи семейной традиции [21, с. 127]. Это может быть выражено в большей или меньшей мере, но важно для нас то, что мифологизация семейной традиции в прямом смысле «цепляется» за любой материальный объект или образ. В таком случае сама структура повседневности оказывается источником для выделения различных способов мифологизации и позволяет классифицировать образы сакрального и профанного в нарративах семейной памяти.

Однако прежде, чем мы обратимся к заявленной классификации, необходимо отметить, что наибольшую силу для формирования семейного мифа играет наличие в семейной истории какой-либо тайны. «Для мифа тайна служит катализатором, и когда тайна повторяется более чем в одном поколении, она может стать особенно сильным семейным сценарием» [21, с. 143]. В нашем случае в среде молодых липчан мы столкнулись с двумя интервью, где присутствие тайны пронизывало весь семейный рассказ.

В одном интервью, молодой человек по имени Филипп, рассказывая о своем потомственном происхождении от боярского рода Морозовых, специально остановился на эпизоде о прадедушке, который в годы коллективизации и раскулачивания закопал золото. *«После раскулачивания он закопал золото с целью того, чтобы не было вражды между семьями в роду. Это золото после раскулачивания как имущество, деньги надо было*

реализовывать. Началась маленькая междоусобная война в роду. И дед предпринял такой интересный момент, то есть закопать золото и никому об этом не рассказывать» (Филипп, 20 лет, студент). О другом примере мы уже писали ранее, когда затрагивали рассказ Юлии (21 год, студентка), отмечавшей судьбоносное негативное влияние наговора пожилой женщины на их семью.

Сравнительный анализ интервью молодых липчан показал, что статус сакральных могут получить совершенно любые события и люди, к воспоминаниям о которых рассказчик добавляет эмоциональный контекст и интерпретирует их как проявление чуда, счастливой судьбы, повода для гордости, а также родительской и сыновней любви. В этой связи мы постарались классифицировать выявленные сакральные события и распределили их в рамках нескольких типов.

Первый тип сакральных событий, выявленный нами в интервью молодых людей, был представлен практиками труда старших родственников и далеких предков, создававших, по мысли респондентов, благополучие семьи. В трех интервью были зафиксированы случаи преемственности трудовой деятельности, приобретающие за счет самой преемственности традиции статус сакральных. Особым случаем при этом является накладывание одного мифологизированного события на другое или их комбинация с образом героизированного члена семьи. Так, в одном из интервью мы столкнулись со следующим описанием: *«Самые яркие события у меня связаны с моим дедушкой. Он у меня родился первого мая. И первое мая – это у нас общий праздник. Первого мая мы всегда сажаем картошку, а потом начинаем праздновать»* (Ирина, 18 лет, студентка).

Второй тип сакральных событий семейной памяти связан с практиками быта, где в мифологическую форму облакаются ностальгия по дому, родное село, традиции приготовления пищи в семье. В наших интервью мы столкнулись со всеми из вышперечисленных случаев, однако в качестве примера приведем только одно высказывание: *«Бабушка приносит квас. Все любят у нас квас. Вообще она квас варит перед такой вот тяжелой работой»*.

Пьем этот холодный квас с мятой, вообще очень освежает. Это происходит на траве у любого затемненного куста, где попрохладнее. Просто расстелить там скатерть, там сало режется, вот этот квас. Какой же он вкусный, особенно после работы» (Ирина, 18 лет, студентка). Характерно, что в данном случае совершенно обычный элемент повседневного питания – квас, оказывается важным элементом образа семейной целостности и мифологизации образа бабушки.

Третий тип сакральных событий был связан с практиками досуга, где мифологизации подвергаются события семейных праздников, путешествий, ремесел и хобби, также традиции семейного общения. Так в одном интервью мы находим описание, свидетельствующее о сакрализации традиции украшения елочными игрушками: *«есть традиция, шуточная, конечно <...> родители каждый год просто считают своим долгом рассказать про каждую новогоднюю игрушку, которая есть у нас в коробке. Абсолютно у каждой игрушки есть своя история, и отец всегда сильно огорчается, когда из его игрушек (а это игрушки, которыми он в детстве наряжал елку, и мамыны игрушки, которыми она в детстве елку наряжала) какая-нибудь ломается, бьется или с ней что-то происходит. Это прямо огорчение, это прямо депрессия на неделю»* (Сергей, 25 лет, педагог начальных классов).

Четвертый тип сакральных событий связан с природными и социальными событиями, когда один или несколько старших родственников выживают в сложных природных или исторических ситуациях. В свете наших интервью мы столкнулись с эпизодами, повествующими о чудесном спасении солдат Великой Отечественной войны – прадедушек от смертельных пуль, спасении семьи в ситуации попадания шаровой молнии в дом, а также легенды, согласно которой один из предков рода спас целую деревню от надвигающегося урагана.

Одна из рассказчиц, отвечая на дополнительный вопрос, отметила следующее: *«Мой далекий родственник по линии дедушки, который жил в деревне недалеко от леса в Костромской области, смог остановить надвигающийся ураган. Тем самым спас большую деревню от разрушений. Это*

поверье переходит из уст в уста уже много лет. Вот такое вот чудо. Может это и преувеличение, но ...» (Татьяна, 17 лет, студентка). Далее фраза обрывалась и своим молчанием рассказчица показывает нам свое желание верить легенде.

Пятый тип сакральных событий, выявленный в процессе обработки интервью, оказался связан с религиозными практиками, а также с различными суевериями и в том числе с традициями знахарства. Нами также были выявлены элементы сакрализации повторяющихся имен в семье как в процессе передачи от поколения к поколению или использования одного и того же имени среди родственников, являющихся современниками. В одном случае мы столкнулись с важной ролью предания о святом источнике для конструирования мифологии семейной памяти: *«Наверное самой удивительной историей было обнаружение святого источника в границах земельного участка моего прадеда, Аничкова Ивана Филипповича. Это получается папа моей бабушки из села Новоситовка. Когда-то это было место купания всей деревенской детворы, ну а спустя один десяток лет образовался святой источник, в котором сегодня все желающие набирают воду»* (Татьяна, 17 лет, студентка).

Шестой тип сакральных событий, встречающийся в интервью, связан с мифологизацией положительных качеств родителей и старших родственников, забота и любовь которых рассматривались респондентами в качестве важной составляющей семейной традиции, передаваемой из поколения в поколение. Характерно, что данный тип встречался как в интервью, где присутствовала преемственность трудовых отношений, так и в тех интервью, где трудовые традиции не соблюдались.

Завершая данный блок статьи, резонно задать вопрос о месте и статусе профанного как некоей оппозиции сакральным событиям семейной истории. Множество раз в интервью мы сталкивались с секвенциями рассказов, которые сами респонденты маркировали как «малозначащие события». Любопытно, что в данную сферу попадали рассказы о собственных трудовых буднях. В сфере

профанного оказывались также учеба, бытовые проблемы. Однако сюда же попадали и упоминания о свадьбах в семье, ближайших родственниках – современников наших рассказчиков. В целом ряде интервью мы столкнулись с тем, что даже события Великой Отечественной войны, казалось бы, являющиеся знаковыми практически для любой семьи в России опускались или представлялись в виде рассказа, лишённого описаний и аргументаций. Упомянуть об этом важно, поскольку именно события Великой Отечественной войны активно используются сегодня властью в России в качестве официальной символической рамки для включения партикулярных версий семейной памяти в общенациональный исторический нарратив (например, акция Бессмертный полк).

Вышеописанная ситуация, на наш взгляд, объясняется в первую очередь недостатком знаний о прошлом среди молодого поколения, что не позволяет придать событиям прошлого эмоциональный контекст. Таким образом, для того, чтобы получить статус сакрального, событие семейной памяти должно иметь, в первую очередь, высокий эмоциональный статус. Демаркация повседневного и неповседневного в данном случае отходит на второй план.

Таким образом, изменения, происходящие в семейной памяти в современных условиях, связаны не только с трансформацией стратегий идентификации, трансформациями института семьи, но и предельной динамичностью самого коммеморативного пространства, появлением новых мнемонических сообществ и акторов, предлагающих новые стратегии интерпретации истории семей.

На основе результатов анализа серии нарративных интервью в данной статье нами были осмыслены особенности репрезентации семейного времени, хронологии и периодизации, а также основные типы событий семейной истории в представлениях молодых липчан. Способы конструирования времени и событийности интересовали нас в контексте культурных практик семейной памяти, воспроизводимых в повседневной жизни и осознаваемых как традиции труда, быта и досуга. При помощи биографического метода Фритца Шютце

были выявлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов, которые в дальнейшем были сопоставлены с «семейными сценариями», репрезентированными в нарративах молодых людей.

Анализ интервью показал, что в молодежной среде семейное время в большинстве случаев доминировало над историческими событиями региона и страны, а преобладающей тенденцией явилось стремление к своеобразной «поколенческой периодизации», когда основные этапы семейного рассказа структурировались в соответствии со сменой поколений.

Сопоставляя рассказы представителей молодежной группы, нами были выявлены три наиболее повторяющихся вида эпизодов, представляющих собой описания и выделявшихся из рассказов. Первый вид был связан с собственными детскими воспоминаниями респондентов. Второй вид связывался с описаниями различных семейных традиций быта или досуга. Третий вид устойчиво связывался респондентами с фигурой наиболее важного для них родственника (отец, мать, бабушка, дедушка), личность и качества которого приобретали в рассказах черты мифологического героя.

Основным историческим событием, в контексте которого рассказчики сообщают о своих предках, продолжает оставаться Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Меньше половины респондентов, сообщая о событиях, практически не аргументировали свое понимание семейной истории. Другая половина интервьюируемых стремились интерпретировать семейную историю в рамках оценок, отражающих мнения старших поколений. История семей в них представлена как восходящая кривая, где трудности и утраты преодолеваются, а результатом является гордость за семью. В отличие от достаточно похожих источников положительной интерпретации семейного опыта в рассказах с восходящими кривыми, источниками негативной интерпретации опыта всегда выступали различные факты семейной истории.

На основе проведенного исследования были дополнены существующие классификации типов семейного рассказа, которые в молодежной среде могут быть связаны с сильной, слабой преэминентностью, а также направлены на

отрицание семейного исторического опыта. Было выявлено, что высокая эмоциональность семейной памяти является одним из наиболее важных источников придания семейным событиям мифологической интерпретации. Стремление субъектов семейной памяти придавать эмоциональное значение любым материальным предметам или повседневным практикам, связанным с семьей, позволило рассматривать структуру повседневной жизни в качестве источника для классификации образов сакрального и профанного в нарративах семейной памяти.

Список литературы:

1. Аникин Д.А. Проблематика фронта в исследованиях культурной памяти // Журнал фронтальных исследований. 2020. № 2 (18). С. 12-27.
2. Бааль Н.Б. Молодежь как социальная группа // Перспективы науки. 2010. № 10 (12). С. 34-39.
3. Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2014. 351 с.
4. Борозняк А.И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века. М.: РОССПЭН, 2014. 351 с.
5. Волчек Д. Еретики в Бессмертном полку. Кремлевская религия ищет врагов // Радио Свобода. 13.06.2020 [сайт]. URL: <https://goo.su/2HFo> (дата обращения: 15.06.2020).
6. Городилина М.В. Диалог с историей своей семьи: зарубежный опыт исследования // Педагогика и психология образования. 2017. № 2. С. 110-119.
7. Городилина М.В. Семейная идентичность современной молодежи в контексте биографической памяти поколений: дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.05 – социальная психология. М., 2017. 192 с.
8. Крылов П.В. Обретение исторического слуха: парадигмы изучения неофициальной памяти // Новое литературное обозрение. 2005. № 74 (4). С. 446-453.

9. Логунова Л.Ю. Семейно-родовая память: временные ипостаси и социальные ресурсы // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 379. С. 69-75.
10. Логунова Л.Ю. Социально-философский анализ семейно-родовой памяти как программы социального наследования: дис. докт. филос. наук: спец. 09.00.11. – социальная философия. Кемерово, 2011. 267 с.
11. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. 525 с.
12. Николаи Ф.В. «Третья волна» memory studies: культурная память между опытом и репрезентацией // Диалог со временем. 2018. № 63. С. 369-374.
13. Нуркова В.В. Сверхъестественное продолжается: психология автобиографической памяти личности. М.: Изд-во УРАО, 2000. 320 с.
14. Омельченко Е.Л., Андреева Ю.В. Что остается в семейной истории: память о советском сквозь разговор трех поколений // Социологические исследования. 2017. № 11. С.147-156.
15. Пономаренко С.Н. Социально-демографические характеристики молодежи и условия ее формирования // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. № 1 (45). С. 93-95.
16. Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. 381 с.
17. Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью // Хрестоматия по устной истории. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2003. С. 322-356.
18. Сафронова Ю.А. Историческая память: введение: учебное пособие. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 220 с.
19. Сизова М.А. К вопросу изучения связи между поколениями в семье // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2010. Т. 16. С. 134-139.
20. Сулимова Т.С. Молодежь // Социальная политика: толковый словарь. М.: Рос. акад. гос. службы при Президенте, 2002. С. 226-227.

21. Томпсон П. Семейный миф, модели поведения и судьба человека // Хрестоматия по устной истории / Общ. ред. В.М. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2003. С. 110-146.
22. Чеканцева З.А. Событие историческое // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. М.: АКВИЛОН, 2016. С. 430-432.
23. Bolea, P.S. Transitions to parenthood: a narrative study of intergenerational issues and family identity. PhD thesis. Michigan State University, USA, 1996. 113 p.
24. Erll A. Locating family in cultural memory studies // *Journal of Comparative Family Studies*. 2011. Vol. 42. N. 3. P. 303-318.
25. Huisman, D.M. Telling a family: family storytelling, family identity, and cultural membership. PhD thesis. The University of Iowa, USA, 2008. 215 p.
26. Hutton P.H. The memory phenomenon in contemporary historical writing. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016. 234 p.
27. "Opa war kein Nazi". Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis / (Hrs.) Welzer, Harald; Moller, Sabine; Tschuggnall, Karoline. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. 256 S.
28. Ross M. Remembering the personal past. Descriptions of autobiographical memory. N.Y.: Oxford University press, 1991. 362 p.
29. Rotberg M. Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization. Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. 380 p.
30. Rüsen J. Geschichte im Kulturprozess. Cologne, Böhlau Verlag, 2002. 298 S.
31. Schütze F. Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens // *Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven* / Kohli, Martin (Ed.); Robert, Günther (Ed.). Stuttgart: Metzler, 1984. S. 78-117.
32. Schütze F. Biographieforschung und narrative Interview // *Neue Praxis*. 1983. H. 3. S. 283-293.

33. Straub J. Das erzählte Selbst. Konturen einer interdisziplinären Theorie narrative Identität. Ausgewählte Schriften. Band 1. Giessen: Psychosozial-Verlag, 2019. 364 S.

34. Woolf D. The social circulation of the past: English historical culture 1500-1730. Oxford, Oxford University press, 2003. 421 p.

Сведения об авторе:

Линченко Андрей Александрович – кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Липецк, Россия).

Data about the author:

Linchenko Andrei Aleksandrovich – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Researcher of Lipetsk Branch of Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russia).

E-mail: linchenko1@mail.ru.